

I

— Мальчик! Подойди-ка сюда!

Я обернулся в полной уверенности, что зовут кого-то из моих товарищей. Оказалось, нет, звали как раз меня — это, улыбаясь, окликнул меня бывший папский зуав. Верхнюю его губу пересекал шрам, и улыбка поэтому получалась ужасно мерзкая. Полковник граф де Мирбель появлялся раз в неделю во время переменки, когда наши средние классы выпускали во двор. Его подопечный Жан де Мирбель — обычно в переменку он отбывал очередное наказание, стоя у стены, — медленно делал шаг навстречу грозному дяде. Мы издали следили за тем, как он шел на расправу. Наш учитель господин Рош в качестве свидетеля обвинения раболепно отвечал на вопросы полковника, высокого кряжистого старика с «кронштадткой» на голове и в сюртуке военного покроя, застегнутом до самого подбородка, под мышкой он, по обыкновению, держал хлыст, сплетенный, вероятно, из бычьих жил. В том случае, если наш соученик Жан вел себя плохо и «переходил все границы», он под конвоем господина Роша и своего опекуна плелся через весь двор. На наших глазах вся троица исчезала в подъезде левого крыла здания и подымалась по лестнице, ведущей в дортуары. Мы бросали игры и стояли неподвижно, прислушиваясь к длинному жа-

лобному вою — так скулит побитая собака (а может, это нам только казалось...). Через некоторое время появлялся господин Рош, рядом с ним шествовал полковник, и на его побагровевшем лице шрам казался совсем белым. Белки светло-голубых глаз чуть наливались кровью. Господин Рош шагал, повернувшись к полковнику всем телом, внимательно прислушивался к его словам, подобострастно хихикал. Пожалуй, нам, ученикам, представлялся единственный и неповторимый случай видеть ухмылку на этой ненавистной бледной физиономии под рыжей курчавой шевелюрой. Он был нашим ужасом и наваждением, этот господин Рош! Когда он опаздывал к началу урока, я, глядя на пустую кафедру, молил Бога: «Господи, сделай так, чтобы господин Рош умер, Пресвятая Богородица, сделай, чтобы он сломал себе ногу, нашли на него ну хоть какую-нибудь болезнь...» Но он, наш наставник, пользовался железным здоровьем, и его тонкая рука, сухая его рука была тверже и страшнее любой палки. После таинственных пыток, которым подвергали Жана (наше детское воображение, безусловно, преувеличивало размеры дядиного внушения), де Мирбель входил в класс с красными глазами, с зареванным лицом, с полосками высохших слез на грязных щеках и молча шел к своей парте. Но мы не поднимали глаз от тетрадей.

— Да, да, ты, Луи, иди сюда! — крикнул мне господин Рош.

Впервые он назвал меня просто по имени. Я замешкался на пороге нашей приемной, глядя в спину

стоявшего передо мной Жана де Мирбеля. На столике лежал развернутый пакет, а в нем красовались два эклера и ромовая баба. Полковник спросил меня, люблю ли я пирожные. Я молча кивнул.

— Ну и отлично, значит, кушай себе на здоровье. Кушай, кушай... Чего же ты ждешь? Если не ошибаюсь, это сынок Пианов? Я их семью знаю... Такой же робкий, как его бедняга папаша... Но махеха, Бригитта Пиан, вот это женщина, настоящая мать игуменья! Нет, ты стой здесь! — приказал он Жану, попытавшемуся было улизнуть. — Так легко ты у меня не отделаешься. Будешь смотреть, как твой приятель лакомится пирожными... Ну, что же ты, приступай, чудачок! — добавил он, вперив в меня наливающиеся бешенством глаза, сидевшие чересчур близко к твердому горбатуму носу.

— Он у нас робкий, — сказал господин Рош. — Не заставляй себя просить, Пиан.

Мой приятель глядел в окно. Я видел сзади его нечистую шею, торчавшую из-под отложного незастегнутого воротничка. Пожалуй, страшнее всего на свете были эти двое мужчин, низко нагнувшихся надо мной и улыбавшихся мне прямо в лицо. Я учуял знакомый запах господина Роша — от него разило хищником. Я пробормотал, что не голоден, но полковник возразил, что пирожные можно есть даже после сытного обеда. Я не сдавался, и господин Рош крикнул, чтобы я проваливал ко всем чертям, что не все такие идиоты. Я бросился бежать, а вслед мне донесся голос господина Роша, звавшего Мулейра. Мулейр славился своей недетской

тучностью и в столовой ел за троих. Тяжело дыша, он явился на зов. Господин Рош захлопнул дверь приемной, и вскоре оттуда появился Мулейр с перепачканными кремом губами.

Стоял июньский вечер, еще по-дневному душный. Приходящие ученики разошлись по домам, а нас, пансионеров, из-за жары выпустили в неурочное время погулять во дворе. Мирбель подошел ко мне. Тогда мы еще не дружили, и, думаю, Жан презирал в душе слишком осмотрительного мальчика, примерного ученика, каким я был в ту пору. Он вытащил из кармана коробочку из-под пилюль, открыл ее.

— Смотри.

В коробочке сидели два жука-рогача, мы почему-то называли их козерогами. Жан бросил им вишню для пропитания.

— Да они вишен не любят, — сказал я, — они живут на дубах, под трухлявой корой.

Мы поймали жуков еще в четверг, перед самым отъездом из загородного дома нашего коллежа, в тот предзакатный час, когда начинают летать насекомые.

— Возьми любого, лучше вон того, он побольше. Только осторожнее бери, они еще не дрессированные.

Я не посмел сказать, что мне некуда девать козерога. Но я был доволен, что Жан говорит со мной так мило. Мы присели на ступеньку крыльца, ведущего в главное здание школы. В этом старинном, не очень просторном особняке благородных про-

порций жили две сотни ребят и человек двадцать учителей.

— Я хочу выдрессировать их, чтобы они возили тележку, — пояснил Жан.

Он вынул из кармана коробочку поменьше и привязал ее ниткой к рожкам насекомого. Мы поиграли немножечко. Такие переменки выпадали нам нечасто, и сегодняшним летним вечером ни один ученик не стоял наказанный у стены и никто не требовал, чтобы мы играли в общие игры. Мальчики расселись на ступеньках крыльца, кто плевался, кто усердно тер абрикосовую косточку: если оттуда вынуть ядрышко и просверлить дырочку, то получится чудесный свисток. Здесь, на дворе, за этими высокими стенами, до сих пор стояла накопившаяся за день духота. Ветки тощего платана не шевелились. Господин Рош торчал, расставив ноги, на своем обычном посту, возле уборных, — нам запрещалось там засиживаться. Оттуда тянуло смрадом, который только отчасти заглушался запахом хлорки и жавеля. По ту сторону стены, по улице Лейтеир, катил, дребезжа на неровных плитах мостовой, фиакр, и я страстно завидовал неведомому седоку, кучеру, даже лошади завидовал. Ведь они не были обречены сидеть под замком в коллеже и трепетать перед господином Рошем.

— Непременно дам Мулейру по морде, — вдруг сказал Жан.

— А что это такое, скажи, Мирбель, папский зуав?

— Сам не знаю, — пожал он плечами. — По-моему, они еще до семидесятого года сражались за папу римского, и их в порошок стерли.

Он помолчал с минуту, потом проговорил:

— Хоть бы они с Рошем не умерли, пока я стану большим.

Ненависть исказила его черты. Я спросил, почему только с ним одним так обращаются.

— Дядя говорит, что для моего же блага. Говорит, что, когда его брат умирал, он поклялся ему сделать из меня человека.

— А твоя мама?

— Она всем его рассказням верит... А может, не смеет возражать. Она не хотела отдавать меня на полный пансион. Ей знаешь чего хотелось? Чтобы мне наняли учителя и чтобы я остался жить в Ла-Девизе... А он уперся, сказал, что я слишком испорченный по натуре...

— А моя, — не без гордости заявил я, — поселилась в Бордо, чтобы наблюдать за моим воспитанием.

— Но ты ведь пансионер...

— Только на две недели, потому что Виньот, приказчик Ларжюзона, заболел и делами занимается папа... Но она мне каждый день пишет.

— И все-таки Бригитта Пиан тебе не родная мать...

— Все равно что родная... Будто самая настоящая мама!

Но тут я замолчал и почувствовал, что лицо у меня горит. А вдруг мои слова услышит моя настоящая мама? А вдруг мертвые подслушивают, что мы о них говорим? Но если моя мама знает все,

она знает и то, что никто не занял в моем сердце ее места. Как бы чудесно ни относилась ко мне мачеха... Я не соврал, она и правда писала мне каждый день, но я даже не распечатал ее сегодняшнего письма. И нынче вечером, когда перед сном я буду реветь в нашем душном дортуаре, то вовсе не о ней, Бригитте Пиан, а о своей сестре Мишель, о папе, о нашем Ларжюзоне. А ведь именно папа настаивал, чтобы меня отдали в пансион на круглый год и они могли бы жить в деревне, но мачеха сделала по-своему. Сейчас они сняли квартиру в Бордо, и я могу возвращаться домой каждый вечер.

Моя сестра Мишель, а она ненавидела вторую жену нашего отца, уверяла, что мачеха нарушила клятву, данную перед свадьбой, — жить безвыездно в Ларжюзоне и выставила в качестве главного предложения меня. Мишель, безусловно, была права: если мачеха вечно твердит, что я слишком нервный, слишком впечатлительный ребенок и не вынесу жизни в интернате, она знает, что делает, — это единственный аргумент, которым можно убедить отца поселиться в Бордо. Все это мне было известно, но особенно я над этим не задумывался. Пускай взрослые улаживают свои дела сами! Важно, что последнее слово осталось за мачехой. Однако я отлично понимал, что папа несчастлив вдали от своих лесов, своих лошадей и своих охотничьих ружей. Как он, должно быть, наслаждается эти последние дни... Эта-то мысль и помогла мне с честью перенести двухнедельный затвор. И кроме того,

скоро будут раздавать награды. Вот тогда-то Бригитта Пиан вынуждена будет вернуться в Ларжюзон.

— Скоро будут награды раздавать! — воскликнул я. Мирбель, зажав в каждой ладони по козерогу, поднес их друг к другу.

— Целуются! — заявил он. И, не глядя в мою сторону, добавил: — Ты еще не знаешь, что дядя придумал: если я на этой неделе не получу хорошую отметку по поведению, меня на каникулы в Ла-Девиз не возьмут. Поместят в пансион к одному кюре в Балюзаке, это в нескольких километрах от вашего дома... Кюре берется заставить меня учиться по шесть часов в день и вообще меня подтянет! Говорят, он в таких делах мастак.

— А ты, старина, попытайся получить хорошую отметку по поведению.

Жан безнадежно махнул головой: с Рошем не выйдет, он уже несколько раз пробовал!

— Он с меня глаз не спускает. Знаешь ведь, где я сижу — прямо у него под носом, по-моему, он из всего класса только за мной и следит. Стоит мне посмотреть в окно...

Все это была чистейшая правда, и Мирбелю ничто не могло помочь. Я пообещал ему, что если он будет жить в Балюзаке, то во время каникул мы будем с ним часто видеться. Я хорошо знал господина Калю, тамошнего кюре, и, по моему мнению, он был вовсе не такой уж страшный, скорее, даже хороший...

— Нет, плохой... Дядя говорит, что ему отдают на воспитание испорченных мальчиков. Мне пере-

давали, что он совсем запугал обоих братьев Байо... Но я не дам себя пальцем тронуть...

Может быть, балюзакский кюре вел себя так мило только в отношении меня одного? Поэтому я промолчал в ответ на слова Мирбеля. Я сказал только, что, раз его мама так редко с ним видится, она вряд ли откажется провести с ним каникулы.

— Если дядя захочет... Она все делает, что он хочет, — злобно добавил Жан. И по его голосу я понял, что он вот-вот разревется.

— Хочешь, я помогу тебе делать уроки?

Жан отрицательно помотал головой: уж слишком он отстал; и потом, Рош все равно заметит.

— Когда я сдаю ему работу на «удовлетворительно», он кричит, что я списал.

Как раз в эту минуту Рош поднес к губам свисток. На нем был длинный черный сюртук с засаленными лацканами. Хотя стояла невыносимая жара, он по-прежнему щеголял в теплых войлочных ботинках. Редящие огненно-рыжие волосы высоко открывали его костистый, весь в желтых пятнах лоб. Глаза были как у судака, а веки красные, воспаленные. Построившись парами, мы двинулись в столовую; я ненавидел ее потому, что там всегда воняло жирным супом. Было еще светло, но сквозь засаленные окна не видно было неба. Я заметил, что за нашим столом только один Мирбель не набросился жадно на пищу. Папский зуав сумел в конце концов выдумать для своего подопечного наказание: отобрать его у матери и поместить на лето к священнику в Балюзак, подальше от их поместья! Ничего,

у меня есть велосипед, я смогу хоть каждый день к нему ездить. Вдруг меня затопило ощущение счастья. Я поговорю о Жане со священником, ведь со мной он вел себя так мило, что даже позволял рвать у него в саду орехи. Правда, я сын Пиана, пасынок госпожи Бригитты, «благотворительницы»... Вот я и попрошу мачеху вступить за Жана. Все это я изложил ему, когда мы парами шли в дортуар.

В дортуаре, куда свежий воздух поступал только из одного окна, открытого на узкую улочку Лейтеир, нас спало двадцать человек. В изножье каждой постели стоял на ночном столике тазик, и в тазик мы ставили стакан для чистки зубов так, чтобы служитель мог сразу налить воду из кувшина и в тазик, и в стакан. Через пять минут мы должны были раздеться и лечь. Как обычно, наш надзиратель господин Пюибаро приспустил в лампах газ и жалобным голосом прочел три стиха, обладавших властью вызывать у меня слезы: я оплакивал свое одиночество, свою будущую смерть и свою мать. Мне было тринадцать лет, а она скончалась шесть лет назад. Исчезла в мгновение ока. Еще накануне вечером она целовала меня, и меня переполняло ощущение нежности и жизни, а наутро... взбесившаяся лошадь примчалась с пустым тильбюри.. Так я и не узнал, как и что произошло, о несчастном случае со мной не говорили, а с тех пор, как папа женился вторично, он вообще не произносил имени своей первой жены. Зато мачеха заставляла меня молиться о покойной маме. И допытывалась, поминаю ли я ее в своих молитвах каждый вечер. Получалось так,

будто за маму нужно молиться вдвое больше, чем за какого-нибудь другого усопшего.

Бригитта с детства знала маму — они были кузинами, — и иногда мама приглашала ее провести у нас в поместье летние каникулы. «Непременно позови свою кузину Бригитту, — говорил папа. — Дачу ей снять не на что, ведь она раздает все, что у нее есть...» Мама соглашалась не сразу, хотя у нас почему-то полагалось восхищаться Бригиттой. Возможно, мама ее побаивалась. Так по крайней мере уверяла моя сестра Мишель: «Мама ее насквозь видела, она понимала, что кузина забрала папу в руки».

Впрочем, я мало обращал внимания на слова Мишель, но увещевания мачехи оказывали на меня свое действие, ведь и правда, мама не успела подготовиться к смерти. Понукания Бригитты казались мне понятными, такое уж я получил дома воспитание. И верно, надо много и долго молиться перед Богом за мамину несчастную душу.

Натянув одеяло и потихоньку всхлипывая, я начал читать за маму молитву, а тем временем наш надзиратель господин Пюибаро совсем привернул газ в лампе, и огненная бабочка света превратилась в маленький синенький лучик. Потом он снял сюртук и прошелся между рядами кроватей; воспитанники уже мирно посапывали во сне. Приблизившись к моей постели, он, очевидно, услышал всхлипывания, хотя я удерживался изо всех сил, подошел ко мне и положил на мокрую от слез щеку свою ладонь. Потом со вздохом подоткнул мое